

The background of the poster is a dark, murky underwater scene. A pale, human hand reaches down from the upper left corner, its index finger pointing towards a bright, yellowish light source. Two large, rusted metal pipes run diagonally from the bottom left towards the center, framing the lower part of the image. Sunlight rays filter down from the top, creating a hazy, atmospheric effect.

КРОВЬ И МОЛЧАНИЕ

Elow Reyn

18+

Elow Reyn

Кровь и молчание

<https://litres.ru/74547737>

SelfPub; 2026

Аннотация

Водосточные трубы здесь идут не вниз, а в небо. Гроб в багажнике стучит. Руна везет отца домой, но в Морроу-Фоллз река не течет — она дышит и требует плату кровью.

Руна — гидролог. Она знает осадки на ощупь, но этот ил ей незнаком. В подвале отцовского дома лежит слой карстовой грязи, которой нет в природе. А в гробу сочится теплая вода. Город молчит. Мать варит суп и запрещает вопросы. Старейшина Харлан говорит: «Долг уплачен». Но чей долг? И почему в Хронике города напротив имени Руны стоит пометка «Свидетель»?

Это не детектив. Это вскрытие коллективной амнезии. Когда правда тяжелее лжи, а память становится приговором, у тебя есть три дня. Сжечь историю или стать её следующей жертвой.

Ты уже открыл книгу. Река помнит. А ты?

Содержание

ГЛАВА 1. ГРОБ В БАГАЖНИКЕ	4
ГЛАВА 3. ПОХОРОНЫ.	36
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Elow Reyn

Кровь и молчание

ГЛАВА 1. ГРОБ В БАГАЖНИКЕ

Гроб стукнул на третьем часу.

Руна не вздрогнула. Руки на руле, пальцы не сжались, дыхание ровное. Только шея — затёкшая, одеревеневшая от четырёх часов в одной позе — повернулась на звук сама, как поворачивается голова на чужой голос в пустой комнате. Дерево ударилось о стенку багажника глухо, коротко, с тем звуком, с которым бьётся о борт весло, если грести неаккуратно.

Она ехала дальше.

Туман пошёл за сорок километров. Не тот, который разойдётся к девяти, не утренний, не лёгкий. Плотный. Жёлто-серый. Дворники размазывали его по стеклу в плёнку, и плёнка не стекала, а держалась, как жир на холодной воде. Руна сбросила до пятидесяти. Потом до тридцати. Фары резали два конуса, и дальше конусов мира не существовало.

Гроб стукнул снова.

— Пап, — сказала Руна вслух. Голос в кабине прозвучал хрипло, чужеродно. — Если ты сейчас стукнешь ещё раз, я остановлюсь и выброшу тебя на обочину.

Тишина. Двигатель. Шины по мокрому асфальту. Гроб молчал.

Руна повернула голову обратно. Шея хрустнула. Боль прошла от затылка к лопатке, горячая, тупая, знакомая. Четыре часа в одной позе, с рулём на уровне груди и локтями на подлокотниках, и тело уже не принадлежало ей. Оно принадлежало дороге. Дороге и тому, что лежало сзади, привязанное верёвкой к креплениям, завёрнутое в брезент, пахнущее лаком и чем-то сладковатым, что она не хотела называть.

Она не хотела домой. Отец, судя по последнему письму, тоже не хотел. Письмо было короткое: «Не приезжай. Не звони. Если я умру — кремируй. Не вези сюда. Не в этот дом. Не в этот город». Руна сложила письмо вчетверо. Положила в нагрудный карман. Руна не поверила письму. Слишком коротко. Слишком ровно. Как будто писал не он. И повезла. Гроб в багажнике не спрашивает, чего хотел мертвец. Гроб требует земли. И Руна везла его туда, где земля была.

Знак появился из тумана в трёх метрах от бампера.

Руна ударила по тормозам. Машину повело. Гроб в багажнике стукнул — сильно, с треском, и она услышала, как лопнула одна из верёвок. Тело бросило вперёд, ремень врезался в ключицу.

Знак. Белый. Облупленный. Буквы чёрные, с потёками ржавчины по краям:

МОРОУ-ФОЛЛЗ. НАСЕЛЕНИЕ: 1 214.

Под цифрами кто-то написал. Не краской. Не мелом. Чем-

то бурым, засохшим, с корочкой, которая трескается, когда металл гнётся от ветра. Буквы неровные. Торопливые. Крупные:

минус один.

Руна смотрела. Дворники скрипели. Двигатель работал на холостых. Туман облеплял стекло снаружи, и знак был как в аквариуме — мутный, покачивающийся.

Она не вышла. Не потрогала буквы. Не стала гадать, кровь это или краска, или ржавчина, или кетчуп из придорожной закусочной. Она знала этот цвет. Видела его на практике, в полевых сезонах, в гидрологических отчётах, когда вода выносила то, что не должна была выносить. Знакомый цвет. Рабочий.

Руна выключила передачу. Включила. Знак ушёл в туман, за заднее стекло, в три метра от бампера. Она поехала дальше. Гроб больше не стучал.

Город не начался. Он оказался вокруг.

Сначала — забор. Потом второй. Потом почтовый ящик на столбе, ржавый, с номером, которого не видно. Потом дома. Деревянные. Серые. С закрытыми ставнями. Ни одного окна открытого. Ни одной машины на дороге. Ни одного человека. Туман лежал между домами, как вата между зубами, и дома стояли в нём, как зубы в дёснах — крепко, молча, на своих местах.

Руна проехала главную улицу. Медленно. Двадцать километров в час. Смотрела по сторонам.

Церковь. Вход заколочен. Не досками — ставнями. Теми же, что на домах. Серыми. Закрытыми. Паб. Вывеска качается, хотя ветра нет. Библиотека. Закрыто. Мост через реку — старый, каменный, с перилами, обросшими мхом. Реки за мостом не видно. Только слышно: низкий, спокойный гул. Не журчание. Не плеск. Гул. Как трансформатор. Как дыхание большого животного, которое спит под землёй.

И трубы.

Руна увидела их не сразу. Увидела краем глаза, на третьем доме, и мозг не зацепился. Проехала дальше. Четвёртый дом. Пятый. Шестой. И на шестом она затормозила. Не резко. Плавно. Как тормозят, когда видят что-то неправильное, но не понимают, что именно.

Водосточные трубы. На каждом доме. Шли не вниз. Не вдоль стены к земле, к дренажу, к ливнёвке. Вверх. От фундамента — к небу. От земли — к крыше. К облакам. В туман. В никуда.

Руна смотрела на них три секунды. Четыре. Пять.

Руна хотела остановиться. Достать телефон. Сфотографировать. Но что-то — не страх, не усталость, что-то другое — держало руки на руле. Она не остановилась. Только запомнила. Каждый дом. Каждую трубу.

Мозг сказал: неправильно. Глаза сказали: так. Руки сказали: едь. И она поехала. Телефон показывал одно деление. Звонить было некуда. И некому. Она не сфотографировала. Не зафиксировала. Просто поехала дальше, и трубы уходили

в туман за стеклом, одна за другой, дом за домом, как руки, поднятые из воды.

Она свернула на Милл-стрит.

Дом стоял в конце. Двухэтажный. С мансардой. С крыльцом, на котором когда-то лежал половик. Половика не было. На крыльце стояла лужа. Небольшая. Сантиметров двадцать в диаметре. Вода в ней тёмная и не двигалась.

Руна заглушила двигатель. Вышла. Воздух был холодный и мокрый, и пахло илом, железом и чем-то живым, что уже не живое. Сентябрь. Река. Запах, который она знала пятнадцать лет. Который был её работой. Который теперь был её домом.

Она обошла машину. Открыла багажник. Гроб лежал ровно. Одна верёвка лопнула, вторая держала. На крышке была трещина — тонкая, от края до середины. Руна провела по ней пальцем. Дерево влажное.

Оставила багажник открытым. Не потому что ленилась закрыть. Потому что не хотела оставлять отца в темноте. Глупо. Мёртвым не нужен свет. Но она оставила. Она знала, что это глупо. Что кто угодно может увидеть. Но закрыть — значило оставить его в темноте. Она не смогла.

Ключ был под третьим камнем от крыльца. Она помнила это. Помнила, как отец говорил: «Если что — под третьим». И ключ лежал там. Ржавый. С отколотым зубцом. Металл обжёг ладонь холодом — не тем холодом, который на улице, а тем, который живёт в металле, лежащем в земле. Руна сжа-

ла ключ. Встала. Подошла к двери.

Дверь открылась со стоном. Коротким. На выдохе.

Внутри было темно. Пахло пылью и застоявшимся воздухом — тем запахом, который бывает в комнатах, где кто-то жил и ушёл, и воздух не двигался. Живой запах без живого человека. Запах дыхания, которое прекратилось.

Руна щёлкнула выключателем в прихожей. Ничего. Щёлкнула ещё раз. Свет не загорелся.

Но на кухне горел.

Она видела его из прихожей: тёплый, жёлтый, ровный. Лампа над столом. Та самая, с абажуром, который пожелтел двадцать лет назад. Свет горел. Стол пуст. Стулья стоят прямо.

Четыре стула.

В этом доме всегда было четыре стула. Хотя жили трое.

Руна прошла на кухню. Половицы не скрипнули. Она помнила: третья от двери скрипела. Теперь не скрипела. Кто-то ходил здесь. Недавно. Ходил и не скрипел.

Она подошла к раковине.

В раковине было.

Слизь. Бурая. Густая. С комками. Засохла по краям, в середине ещё влажная. На ощупь — как глина, разведённая слюной. Руна наклонилась. Посмотрела. Не тронула. Только запомнила цвет. Запах. Комки. В слизи были крупинки. Тёмные. Мелкие.

Она не стала выяснять.

Вышла из кухни. Коридор. Дверь в подвал. Приоткрыта. На ширину ладони. Из щели тянуло холодом и тем самым запахом — прелым, густым, живым.

Руна спустилась.

Три ступени. Поворот. Ещё четыре. Подвал низкий. Бетонный. Лампочка работала. Руна включила. Белый свет. Больничный.

Ил.

Слой осадка на полу. Не лужа. Не грязь. Слой. Три сантиметра. Плоский. Однородный. Тёмно-серый, с зелёным отливом. Лежал на бетоне, как лежит на дне реки, когда вода стоит давно и не двигается.

Руна присела. Зачерпнула двумя пальцами. Растёрла.

Знающий человек отличит речной ил от озёрного, от болотного, от канализационного. Руна знала. Пятнадцать лет полевых сезонов. Она знала осадок на ощупь, на запах, на цвет. Но этот ил она не знала. И это было хуже всего.

Это был не речной ил Морроу.

Река здесь быстрая. Каменистая. С песчаным дном. Осадок в ней светлый, крупный, с песком и галькой. А этот — мелкий. Жирный. Тёмный. В нём волокна. Тонкие. Длинные. Как нитки. Руна вытащила одно. Посмотрела. Не нитка. Не корень. Другое.

Карст.

Она знала это слово. Знала этот тип осадка. Карстовые полости. Подземные каналы. Вода, которая стоит столетиями

и не двигается. Которая не выходит на поверхность. Которая не должна быть здесь. В подвале дома. В трёх сантиметрах от бетона. В городе, где никто не жил три недели.

Руна бросила волокно обратно. Выпрямилась. Посмотрела на осадок.

Три сантиметра. Плоский слой. Откуда.

Она поднялась по ступеням. Вышла в коридор.

И в этот момент входная дверь открылась.

Клэрис вошла без стука. Как будто знала, что дверь открыта. Как будто знала, что Руна в подвале. В пальто. В платке. С сумкой через плечо, которую не сняла, а держала перед собой. Посмотрела на Руну. Не на лицо. На руки. На пальцы, испачканные илом.

— Ты в подвал ходила.

Не вопрос.

— Там ил.

— Я знаю, что там.

Клэрис прошла мимо. Поставила сумку на стол. Села. Спина прямая. Руки на коленях. Клэрис не сняла пальто. Не повесила сумку. Как будто не собиралась оставаться. Как будто пришла не в свой дом. Посмотрела на Руну снизу вверх, и в этом взгляде не было ни радости, ни горя, ни усталости. Оценка. Как смотрят на предмет, который нужно куда-то деть.

— Машина на улице. Гроб в багажнике. Я не могу одна.

— Не надо одна. Позвони Харлану. Пусть пришлёт людей.

— Я не знаю номер Харлана.

— Ты знаешь.

Руна не знала. Спорить не стала. Стояла в дверях кухни, с илом на пальцах, и смотрела на мать, которая сидела за столом и не предложила сесть. Не спросила, как дорога. Не сказала, что рада. Не сказала, что не рада. Не спросила про гроб. Не спросила, как он выглядит. Только взгляд — короткий, в сторону окна, на машину. Не спросила про отца.

— Не задавай вопросов, — сказала Клэрис. — Продай дом. Уезжай. Не ходи к реке.

— Мне нужно его похоронить.

— Похоронишь. Завтра. Харлан устроит. Ты подпишешь бумаги и уедешь.

— Мама.

— Не называй меня так.

Пауза. Лампа гудела. Слизь в раковине сохла. Руна смотрела на мать. Мать смотрела на стол. Между ними три метра кухни и восемнадцать лет, в которых не было ни звонка, ни письма, ни одного дня рождения.

— Что здесь произошло? — спросила Руна.

Клэрис подняла глаза. В них было что-то. Усталость. Глубокая. Костяная. Как у человека, который слишком долго держал что-то тяжёлое и не может положить.

— Ничего не произошло. У него было сердце. Он упал. Умер. Ты приехала. Продашь дом. Уедешь. Всё.

— В подвале ил, которого нет в этой реке.

— Подвал старый. Грунтовые воды.

— Это не грунтовые воды. Это карстовый осадок. Донный. В нём волокна.

Клэрис встала. Резко. Стул скрипнул.

— Ты слышишь меня? — Голос не повысился. Стал тише.

— Продай дом. Уезжай. Не ходи в подвал. Не разбирай его бумаги. Не ходи к реке. Не разговаривай с людьми. Завтра похороны. Послезавтра тебя здесь нет.

— А если я хочу понять, почему он утонул в луже.

Клэрис подошла. Близко. Руна чувствовала запах: мыло, старая шерсть, и под ними — что-то речное. Ил. Тот самый.

— Он не утонул. У него остановилось сердце. Он упал. Лицо в воду. Не дышал. Это не утопление. Это сердце. Так написано в заключении.

— В заключении написано «сердечный приступ». Не написано, почему он был лицом в луже.

— Он упал.

— Люди не падают лицом в лужу и лежат. Люди падают и перекатываются. Или встают. Или зовут на помощь.

Клэрис молчала. Две секунды. Три.

— Ты не видела его. Не смей мне рассказывать, как падают люди. Ты не видела.

Руна хотела сказать: я видела. Я видела его в морге. Я видела воду в его лёгких. Я видела, что воды было больше, чем в луже. Но не сказала. Потому что Клэрис уже отвернулась. Уже доставала из сумки чашку. Уже ставила чайник.

Как будто разговор окончен. Как будто его не было.

— Где мне спать? — спросила Руна.

— В его комнате. На втором этаже.

— А ты?

— Я здесь.

Руна пошла к лестнице. На третьей ступени остановилась. Обернулась.

— Мама. Свет на кухне. Он горел, когда я пришла. Я его не включала.

Клэрис наливала воду в чайник. Не обернулась.

— Я приходила днём. Забыла выключить.

— Ты была здесь днём?

— Я была здесь каждый день. Это мой дом.

Руна поднялась. Лестница скрипела. Каждая ступенька. Как раньше. Только третья молчала.

Комната отца. Кровать заправлена. Одеяло ровное. Подушка взбита. Кто-то заправил. Отец не заправлял. Руна помнила: он спал на левой стороне, а правая была пустая, и покрывало комкалось на пустой стороне.

Теперь покрывало ровное. С обеих сторон.

На тумбочке — стакан. Стакан стоял не на том месте. Не там, где отец обычно оставлял. На два сантиметра правее. В стакане вода. Не свежая. С плёнкой. Два дня. Может, три. Рядом — книга. Закрытая. Руна не стала открывать. Села на край кровати. Матрас прогнулся. Чужой запах. Не отцовский. Сладковатый. Прелый. Как ил.

Она легла. Не раздеваясь. Джинсы. Свитер. Куртка. Закрыла глаза.

Звук пришёл через час.

Сначала она подумала: ветер. Трубы гудят. Форточка не закрыта. Воздух гуляет по стоякам. Но ветер не гудит так. Ветер свистит. Воеет. Хлопает. А это был звук воды. Спокойный. Низкий. Как в трубе, когда где-то далеко открыли кран и вода идёт. Идёт и идёт. Не прекращается.

Руна открыла глаза. Посмотрела в потолок.

Звук был в стенах. В трубах. В бетоне. Низкий. Мерный. Живой. Как будто под домом текла река. Не маленькая. Большая. Широкая. С сильным течением.

Она встала. Вышла в коридор. Звук тише. Спустилась. Тише. На кухне тише. В прихожей тише.

Подошла к двери в подвал.

Громче.

Руна положила руку на дверь. Дерево холодное. Влажное. Под пальцами — капельки воды. Дверь потела. Звук за дверью отчётливый. Не гудение. Течение. Вода шла по трубам. По тем, которые вдоль потолка подвала.

Но вода была отключена. Руна знала. Когда приехала, видела: счётчик на стене дома, под навесом. Стрелка на нуле. Вода не шла. Не должна была идти.

А она шла.

Руна надавила на дверь. Дверь не открылась. Что-то мешало. Что-то упиралось с той стороны. Не сильно. Мягко.

Как будто вода упиралась. Как будто за дверью было не три ступени вниз, а вода. Много воды. До самой двери.

Руна убрала руку. Посмотрела на пальцы. Мокрые. Вода на пальцах тёплая. И пахла. Тем самым запахом. Прелым. Сладковатым. Илом.

Она отошла. Села на стул в прихожей. Спина к стене. Колени подтянуты. Слушала.

Вода шла. Шла и шла. Спокойно. Мерно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Как дыхание в трубах. Как дыхание дома.

Руна не пошла обратно в подвал. Не открыла дверь. Не проверила. Сидела на стуле и слушала, как вода идёт по дому, которого не должно быть в трубах, из реки, которая течёт не здесь, с илом, которого в этой реке нет.

В три часа ночи звук прекратился. Резко. Без затухания. Как будто кто-то закрыл кран. Как будто кто-то перестал дышать.

Руна не уснула. Сидела до рассвета. В шесть свет стал серым. Потом белым. Потом жёлтым. Туман за окном не разошёлся. Река за мостом гудела. Низко. Ровно. Как вчера. Как всегда.

Руна встала. Пошла на кухню. Чайник холодный. Чашка матери на столе. Недопитая. На дне — тёмный осадок. Не чай. Гуще.

Она подошла к окну.

На стекле, с наружной стороны, в нижнем углу, кто-то нарисовал. Пальцем. По влажному стеклу. Не буквы. Линии.

Три линии, расходящиеся вниз. Как корешки. Как ток воды. Как три пальца, которые держат голову под водой.

Руна провела по рисунку пальцем изнутри. Стекло холодное. Рисунок снаружи. Значит, кто-то стоял здесь. Ночью. Пока вода шла по трубам. Стоял и рисовал.

На подоконнике, снаружи, под рисунком — мокрая полоска. Не след пальца. След ткани. Как будто кто-то прижался к стеклу рукавом. И ушёл.

Руна закрыла ставню. Защёлкнула. Повернулась.

На кухонном столе, рядом с чашкой матери, лежала записка. Бумага из блокнота. Вывернутая. Почерк не материн. Угловатый. Торопливый. Руна не узнала. Утром. Хотя вечером его не было.

Три слова:

Не вскрывай пол в подвале.

Подпись не стояла. Бумага влажная. Пахла рекой. Не илом. Не железом. Рекой. Той, которая за мостом. Которая гудит. Которая не течёт.

Руна сложила записку. Положила в карман. Посмотрела на дверь в подвал. Дверь закрыта. Гладко. Как всегда. Ни капли воды на пороге. Ни запаха. Будто не было ночи. Будто не было воды. Будто не было дыхания в трубах.

Руна взяла ключи от машины. Пошла к двери. На пороге остановилась. Обернулась.

Кухня пуста. Свет горит. Слизь в раковине засохла. Четыре стула. Стол. Чайник.

Она вышла. Закрыла дверь. Села в машину. Завела двигатель. Поехала. Недалеко. До знака. До разворота. Обратно. Заглушила. Вышла. Пошла к багажнику.

Открыла.

Гроб лежал. Верёвка держала. Брезент на месте.

Но на крышке — трещина. Не та, что была вчера. Другая. Длиннее. Шире. От края до края. Сквозная.

Из трещины сочилась вода.

Руна наклонилась. Провела пальцем по дереву. Вода была тёплая. Не холодная. Не уличная. Парная. Как та, на двери подвала. Как та, в трубах. Как та, которой не должно быть.

Капля упала ей на запястье. Тёплая. Пахла рекой.

Руна смотрела на трещину. На воду. На свои пальцы, мокрые, тёплые, пахнущие карстом. В багажнике, в закрытом гробу, в четырёх часах езды от ближайшего морга, в городе, где трубы идут вверх, в доме, где свет горит сам, в подвале, где ил из-под земли, — в гробу её отца сочилась тёплая вода.

И она не знала, откуда эта вода.

Руна закрыла багажник. Медленно. Замок щёлкнул. Она стояла. Смотрела на крышку. На трещину, из которой больше не капало. На брезент. На верёвку.

Из-под брезента, из-под крышки, из-под дерева, из-под того, что лежало внутри, донёсся звук.

Короткий. Глухой.

Стук.

Один раз.

Руна не открыла. Не наклонилась. Не прижала ухо. Она стояла и смотрела на гроб, и гроб молчал, и вода на её запястье остывала, и пахла рекой, которой не должно быть здесь, в этом городе, в этом багажнике, в этом утре, где трубы идут вверх и ставни закрыты и четыре стула стоят прямо, и никто не смотрит в глаза.

Руна повернулась. Пошла к дому. К двери. К ключу под третьим камнем.

К подвалу.

К двери, которая тёплая.

К воде, которая идёт.

К трём сантиметрам ила, которых нет в этой реке.

Она шла. И не оглядывалась. И не торопилась. И не знала, что найдёт. Но знала одно: записка сказала не вскрывать. А значит, вскрыть придётся.

Записка пахла рекой.

А река не течёт.

Река ждёт.

ГЛАВА 2. ЧЕТЫРЕ СТУЛА

Телефон похоронной конторы не отвечал. Руна набирала трижды, слушая длинные гудки, уходившие в пустоту. На четвёртый раз трубку сняли — женский голос, сонный, с хрипотцой человека, которого разбудили не вовремя, хотя на часах было без четверти девять.

— Контора «Лэтэм и сыновья».

— Мне нужно организовать погребение. Мой отец, Огаст Кейд, умер четыре дня назад. Тело в багажнике моей машины.

Пауза. Секунды три. Руна услышала, как на том конце провода перестали дышать. Потом задышали снова, медленнее.

— Харлан всё устроит.

— Кто такой Харлан?

— Харлан Лэтэм. Старейшина. Он всё устроит. Вам не нужно ничего делать. Подождите.

— Я не могу ждать. Тело в багажнике. Четвёртый день.

— Харлан всё устроит, — повторил голос. Тот же тон, та же интонация. Запись, включённую второй раз.

Связь прервалась. Тишина, потом короткие гудки. Руна посмотрела на телефон. Экран погас. Она набрала снова. Длинные гудки, никто не взял.

Она позвонила в паб — номер нашла в справочнике, который лежал в бардачке машины, под гидрологическим журналом. Паб назывался «Три ставня». Трубку сняли после второго гудка.

— Алло.

— Мне нужен Харлан Лэтэм.

— Кто спрашивает?

— Руна Кейд. Дочь Огаста.

Пауза. На фоне кто-то засмеялся, коротко, оборвал. Тишина, долгая. Руна слышала дыхание. Человек дышал, но не

отвечал.

— Спроси мать, — сказал голос в трубке и повесил.

Руна сидела в машине. Двигатель работал, печка дула тёплым воздухом на замёрзшие пальцы. Тело в багажнике молчало. За окном туман лежал на дороге, на крышах, на трубах, которые торчали из домов и уходили вверх, в серое небо. Руна не смотрела на трубы. Она смотрела на телефон, на погасший экран, на своё отражение в нём — бледное, с тёмными кругами под глазами.

Она пошла в дом.

Клэрис была на кухне. Стояла у плиты, спиной к двери, помешивала что-то в кастрюле. Ложка стучала о стенки — ритмично, ровно.

— Мама. Мне нужно похоронить отца. Контора говорит, Харлан всё устроит. Бармен говорит, спроси тебя. Кто такой Харлан и что мне делать?

Клэрис не обернулась. Ложка продолжала стучать.

— Не надо.

— Что не надо?

— Не надо хоронить. Харлан всё сделает. Ты подпишешь бумаги и уедешь.

— Я не подпишу бумаги, пока не похороню отца.

Клэрис обернулась и посмотрела на Руну. На руки, на пальцы, которые всё ещё пахли илом из подвала, на куртку, которую Руна не сняла, на ботинки, которые оставили мокрые следы на полу.

— Тогда иди в мэрию, — сказала Клэрис. Голос ровный, без раздражения, без усталости. Ровный, как поверхность воды, под которой что-то течёт. — Бумаги на погребение подписывает старейшина. Мэрия откроется после обеда. Иди туда. Жди.

Она отвернулась и снова помешала. Ложка застучала. Руна стояла в дверях кухни, смотрела на спину матери, на платок, завязанный узлом на затылке, на плечи, которые не поднимались и не опускались. Не дышали. Или дышали, но Руна не видела.

Она вышла.

Мэрия стояла в конце главной улицы, напротив церкви — двухэтажное здание из серого камня, с флагом на шесте. Флаг висел неподвижно. Ветра не было. Или флаг был мокрый и тяжёлый. Руна подошла к двери. Заперта. На стекле, изнутри, приклеена бумажка, написанная от руки синими чернилами, аккуратным почерком:

«Обед до 14:00. Просьба не стучать.»

Руна посмотрела на часы. Десять ноль семь. Четыре часа. Она постучала. Никто не ответил. Постучала ещё раз, громче. За стеклом ничего не двигалось. Ни тени, ни звука. Только бумажка. Аккуратная, синяя, с точкой после «просьба».

Руна спустилась по ступенькам — семь ступенек, она насчитала автоматически. Привычка. Считать. Замерять. Фиксировать. Гидролог считает всё: пробы, уровни, секунды между замерами. Семь ступенек. Холодный камень. Джин-

сы промокли мгновенно. Руна села на третью снизу, достала из куртки сэндвич. Хлеб был чёрствый — вчерашний, может, позавчерашний. Руна не помнила, когда купила его на заправке. Она откусила. Хлеб крошился, царапал нёбо. Ветер подул — не сильный, но холодный, забрался под куртку. Руна сжала плечи. Жевала. Смотрела на дверь мэрии, на бумажку, на флаг.

Крошки падали на колени. Она стряхивала их. Они падали снова. Ветер нёс запах реки — не тот, который был у дома, другой, более далёкий, более чистый. Как будто река была где-то далеко и здесь долетал только край её дыхания.

Руна доела сэндвич, обёртку сунула в карман. Встала, прошлась. Семь ступенек вверх, семь вниз. Снова села. Холод камня проникал через джинсы. Руна подложила ладони под бёдра. Стало чуть теплее. Потом снова холодно.

Она ждала.

В одиннадцать мимо прошла женщина с сумкой. Посмотрела на Руну. Не остановилась, не кивнула. Прошла. Ставни на домах были закрыты. Ни один не открылся. Ни один не скрипнул. Город молчал. Не спал. Молчал. Как человек, который знает, что за ним наблюдают, и не хочет подавать признаков жизни.

В двенадцать Руна съела яблоко — кислое, зелёное. Сок потёк по подбородку. Она вытерла рукавом. Яблоко было холодное, зубы заныли. Руна выбросила огрызок в урну у мэрии. Урна была пустая. Ни бумажки, ни окурка. Чистая. Как

будто ей не пользовались. Как будто в этом городе никто не мусорил. Или никто не выходил.

В час она задремала. Голова упала на грудь, подбородок упёрся в куртку. Руна вздрогнула, проснулась. Посмотрела на часы. Тринадцать ноль четыре. Пятьдесят шесть минут. Она встала, размяла ноги. Колени хрустнули. Холод сидел в костях, в суставах, в том месте, где позвоночник встречается с тазом. Руна потёрла поясницу. Не помогло.

В начале третьего дверь мэрии открылась.

Не распахнулась. Открылась. Медленно, с тем звуком, с которым открываются двери, которые не хотят открываться. Руна встала, подошла, вошла.

Внутри пахло линолеумом, старой бумагой и шерстью — сухой, той, которая лежит в шкафу тридцать лет и пахнет нафталином и чьей-то жизнью. Свет был жёлтый. Лампы под потолком гудели, тихо, как далёкий трансформатор.

За столом у входа сидела женщина. Лет шестидесяти. Может, больше. Трудно сказать. Лицо было гладкое, но руки — нет. Руки были старые, с узловатыми пальцами, с синими жилками. Она вязала. Спицы щёлкали — тихо, быстро, не поднимая глаз.

Руна подошла к столу.

— Добрый день. Мне нужно оформить погребение. Мой отец, Огаст Кейд.

Женщина не подняла головы. Спицы щёлкали.

— Бумаги на погребение подписывает старейшина.

— Кто старейшина?

— Харлан Лэтэм.

— Где его найти?

— На лесопилке. Но сегодня его нет. Вернётся завтра. В девять.

Руна записала в блокнот — полевой, с логотипом гидрологической службы округа, синяя обложка, потёртая, из другой жизни.

— А если старейшина умрёт до завтра? — спросила Руна.

Женщина не подняла глаз. Спицы щёлкнули. Дважды. Трижды.

— Тогда обед до семи, — сказала она.

Руна смотрела на неё. Ждала, что женщина улыбнётся. Что это шутка. Что сейчас она поднимет глаза и скажет: иди-те, конечно, я помогу. Женщина не подняла глаз. Спицы щёлкали. Петля за петлёй. Ряд за рядом. Что-то длинное. Шарф. Или свитер. Или покрывало. Что-то, что вяжут долго. Что-то, что вяжут всю жизнь.

— Какие бумаги нужны? — спросила Руна.

— Свидетельство о смерти. Паспорт. Заявление. Подпись старейшины.

— У меня нет свидетельства. Он умер четыре дня назад. Я везла тело сама.

Женщина подняла глаза. Впервые. Посмотрела на Руну. На руки, на блокнот, на куртку, на ботинки.

— Тогда вам нужно свидетельство, — сказала она.

— Где его взять?

— У доктора Грей. Но доктор Грей принимает по вторникам и четвергам. Сегодня понедельник.

— Значит, завтра?

— Значит, завтра.

— А похороны?

Женщина опустила глаза. Спицы стучали.

— Похороны после свидетельства. Свидетельство после доктора. Доктор после вторника. Вторник после понедельника.

Руна сжала блокнот. Бумага хрустнула.

— Тело в багажнике. Четвёртый день.

Женщина не ответила. Спицы щёлкали. Петля. Петля. Петля. Руна стояла. Смотрела на её руки, на пряжу, на то, как пальцы двигаются — быстро, уверенно, без остановки. Как механизм. Как то, что не может остановиться, потому что если остановится, то придётся посмотреть вверх. Посмотреть в лицо. Посмотреть в глаза.

— Лесопилка, — сказала Руна. — Завтра. В девять.

Женщина кивнула. Не подняла глаз. Спицы щёлкали.

Руна вышла. Дверь закрылась за ней. С тем же звуком. С тем же нежеланием.

Лесопилка была за мостом. Руна ехала медленно. Туман лежал на дороге. Фары резали его, но не пробивали. Два жёлтых конуса. Дальше — серое. Ничего.

Запах стружки она почувствовала раньше, чем увидела

здание. Свежий. Смолистый. Смешанный с машинным маслом и чем-то металлическим. Ржавчина. Или кровь. Трудно сказать на расстоянии.

Лесопилка была большая, низкая, с жестяной крышей, которая гудела под ветром. Из трубы шёл дым — серый, тонкий. Пахло горелым деревом. Старым. Тем, которое уже было чем-то. Доской. Полком. Столом. А теперь стало пеплом.

Руна припарковалась, вышла. Воздух был холодный, пах опилками и соляркой. Она пошла к входу. Дверь была открыта. Внутри шумели пилы — не громко, как далёкий дождь. За верстаком стоял мужчина. Молодой. Лет двадцати пяти. В фартуке, в очках, с карандашом за ухом.

— Харлан Лэтэм здесь? — спросила Руна.

Молодой человек поднял глаза. Посмотрел на неё. На куртку, на блокнот в руке, на ботинки.

— Его нет, — сказал он.

— Когда будет?

— Завтра.

— Мне нужно его видеть сегодня. Бумаги на погребение. Мой отец умер.

Молодой человек снял карандаш из-за уха, повертел в пальцах, положил обратно.

— Харлан вернётся завтра. В девять. Не раньше.

— Я не могу ждать до завтра.

— Я позвоню.

Он взял телефон со стены — старый, дисковый, набрал

номер. Ждал. Руна стояла. Слушала, как гудит, как пилы шумят за стеной, как опилки пахнут, как холод забирается под куртку.

Молодой человек говорил в трубку. Тихо. Руна не слышала слов. Слышала только его голос — ровный, осторожный. Как голос человека, который говорит с тем, кого боится. Или уважает. Или и то, и другое.

Он повесил трубку и посмотрел на Руна.

— Харлан примет вас. Завтра. В девять. Не раньше.

— Что значит не раньше?

— Значит, не раньше.

Руна смотрела на него. Он не отводил глаз, но и не смотрел прямо. Куда-то мимо. В точку за её плечом. В стену. В опилки на полу. В то место, где можно не видеть лица.

Руна вышла. Дверь скрипнула. Воздух ударил в лицо — холодный, влажный. Пах рекой. Пах стружкой. Пах тем, что было деревом, а стало чем-то другим.

Она села в машину, не завела. Сидела. Смотрела на лесопилку, на дым из трубы, на дверь, которая закрылась за ней, на молодого человека за стеклом, который уже вернулся к верстаку. К карандашу. К опилкам.

Завтра. В девять. Не раньше.

Руна завела двигатель и поехала домой.

Клэрис была на кухне.

Руна поняла это по запаху, ещё до того, как открыла дверь. Лук. Сельдерей. Куриный жир. Густой, тёплый, домашний

запах. Запах, который не вписывался в этот город, в этот туман, в эту реку, в этот дом с четырьмя стульями и слизью в раковине. Запах, который говорил: здесь варят суп. Здесь кто-то живёт. Здесь кто-то ждёт.

Клэрис стояла у плиты — в том же платке, в том же халате. Помешивала. Кастрюля была большая, эмалированная, белая, с синими цветами по краю. Руна помнила эту кастрюлю. Из детства. Из тех лет, когда суп был просто супом, когда мать была просто матерью, когда ложка стучала о стенки и это значило: скоро ужин. Садись. Ешь.

Руна села.

Клэрис поставила тарелку, налила. Суп был горячий, пар поднимался тонкой струйкой. Руна смотрела на него — на курицу, на морковку, на лапшу, которая разбухла и стала мягкой. Обычный суп. Самый обычный. Такой варят в тысячах кухонь, в тысячах городов, где нет ила в подвале, где нет слизи в раковине, где нет тела в багажнике.

Руна взяла ложку, поднесла ко рту. Суп обжёг нёбо. Горячий. Слишком горячий. Руна не подула. Глотнула. Боль прошла по горлу, осталась — тёплая, настоящая.

Она ела.

Клэрис стояла у плиты, помешивала, не садилась, не ела. Смотрела в кастрюлю. Или не в кастрюлю. В стену. В окно. В то место, где можно не видеть дочь.

Руна ела, ложка за ложкой. Суп был вкусный — солёный, с перцем, с лавровым листом, который плавал на поверхно-

сти и пах горьким. Руна выловила лист, положила на край тарелки, продолжила есть.

Клэрис подошла, взяла кастрюлю, подлила. Руна не просила. Клэрис подлила. Руна ела.

Ни слова. Ни одного. Не «как дорога». Не «ты устала». Не «мне жаль». Не «он был хорошим человеком». Не «я скучала». Не «почему ты приехала». Не «продай дом». Не «уезжай». Ничего.

Только ложка. Только фарфор. Только звук бульона, который льётся из кастрюли в тарелку. Только стук ложки о дно. Только глоток. Только пар. Только тепло, которое разливается по груди и не греет.

Руна доела, поставила ложку. Клэрис забрала тарелку, вымыла. Открыла кран. Вода потекла — бурая. Не от супа. От труб. От того, что течёт в этом доме. Клэрис не заметила. Или не хотела замечать. Мыла тарелку, ставила в сушку, вытирала руки.

Руна встала.

— Я пойду в кабинет отца, — сказала она.

Клэрис не обернулась. Вытирала руки. Полотенце. Белое, с синей каймой.

— Не разбирай его бумаги, — сказала Клэрис. Тихо. Не приказ. Просьба. Усталая, тихая.

— Мне нужны документы. Для погребения.

— Документы в мэрии.

— Мне нужны его записи. Гидрологические. Для страхо-

вой.

Клэрис повесила полотенце, обернулась, посмотрела на Руну. Долго. Не с угрозой, не с злостью. С усталостью. С той усталостью, которая бывает у человека, когда он слишком долго держал что-то тяжёлое и руки уже не чувствуют веса.

— Иди, — сказала Клэрис.

И отвернулась.

Кабинет отца был на втором этаже. Маленький, тесный. Стол у окна. Стеллажи вдоль стен. Папки. Книги. Гидрологические ежегодники. Налоговые декларации. Письма. Всё ровное, всё на своих местах. Аккуратное. Аккуратность человека, который знает: если всё на месте, то мир не развалится. Если каждая папка в своей ячейке, то река не выйдет из берегов. Если каждый документ подшит, то никто не придёт. Не спросит. Не заберёт.

Руна села за стол, открыла верхний ящик. Письма. Счета. Квитанции за электричество. Она перебирала — быстро, механически. Пальцы листали бумагу. Глаза не читали. Искали. Не знали, что. Искали.

Второй ящик. Гидрологический ежегодник за тысяча девятьсот восемьдесят седьмой год. Открыт на таблице уровней воды. Отец читал его. Или кто-то положил. Руна закрыла, положила обратно.

Она встала, обошла стол, посмотрела на стеллажи. Папки. Книги. Коробки. И на верхней полке, в углу, за стопкой старых газет — банка.

Стеклянная. Литровая. С металлической крышкой. Запечатана воском. Красным. Тёмным. Как сургуч. Как кровь, которая засохла и стала камнем.

Руна потянулась, достала. Банка была тяжёлая, холодная. Стекло холодило пальцы. Внутри — соль. Крупная. Серая. С вкраплениями. Как каменная. Как та, которую добывают из земли. Не из моря. Из земли.

Руна повернула банку, посмотрела на дно. На свет. Сквозь соль, сквозь стекло — на дне лежало что-то. Бумага. Сложенная. Плотно прижатая солью. Край виднелся. Белый. Не пожелтевший. Свежий.

Руна сломала воск. Крышка поддалась. Соль высыпалась в ладонь. Холодная. Сухая. Царапала кожу. Руна высыпала соль на стол. Белые гранулы раскатились, забили в щели, в трещины дерева, в поры.

На дне банки лежала страница.

Руна достала, развернула. Бумага была плотная. Кремовая. Не газетная. Не писчая. Другая. Та, на которой пишут то, что должно храниться. Почерк отца. Мелкий, аккуратный, с наклоном вправо. Руна узнала. Узнала бы из тысячи. Из десяти тысяч. Этот почерк писал ей записки в школу. Этот почерк подписывал открытки на день рождения. Этот почерк писал: «Ешь, Руна. Школа».

Страница гласила:

«Хроника Долгов. Том IV. 14 октября. Джунипер Хейл. Статус: Уплачено.»

Ниже, другим почерком, мельче, торопливее:

«Свидетель: Руна Кейд.»

Руна перечитала. Дважды. Трижды. Слова не менялись. Не складывались в другое. Джунипер Хейл. Уплачено. Свидетель: Руна Кейд.

Она не знала, кто такая Джунипер Хейл. Имя было чужое. Не из города. Не из школы. Не из тех лет, которые Руна помнила. Или не помнила. Таблетки. Чай. Мать говорит: пей, Руна. Это для сна. Руна пьёт. Руна не помнит. Руна не знает.

«Уплачено». Что значит «уплачено»? Отец писал хронику города. Краеведение. Он был архивариусом. Он вёл записи. Урожай. Уровень воды. Смерти. Рождения. Слово «уплачено» — метафора. Может, страховая выплата. Может, долг за воду. Может, налог. В этом городе всё записано. Всё учтено. Всё в папке. В ячейке. На своём месте.

Свидетель. Юридический термин. Свидетель подписывает. Свидетель подтверждает. Свидетель был там. Руна не была там. Руна не знает, где «там». Руна не знает, кто такая Джунипер Хейл.

Она сложила страницу, положила обратно в банку. Засыпала солью, закрыла крышкой. Воск сломан. Не запечатать. Руна поставила банку на полку. За стопку газет. В угол. В тень. В то место, где её не видно. Где она не бросается в глаза. Где она стоит. Банка. Соль. Бумага.

Руна вышла из кабинета, закрыла дверь, спустилась. Прошла мимо кухни. Клэрис не было. Свет на кухне горел. Ка-

стрялюя на плите. Остывала. Пар кончился.

Руна пошла в комнату отца, легла. Не раздеваясь. В куртке. В ботинках. Закрыла глаза.

Запах.

Соль. Она чувствовала её. На пальцах, на ладонях, в ноздрях. Сухой. Минеральный. Чуть железный. Как та соль, которую сыплют на дороги зимой. Как та соль, которая остаётся на коже, когда вода высыхает. Как та соль, которая была в подвале. В иле. В том самом иле, которого не должно быть в этой реке. Который пришёл из-под земли. Из карста. Из пустоты.

Соль и ил. Соль и вода.

Руна открыла глаза, посмотрела в потолок. Белый. Трещина. Та самая, которую она помнила с детства. Трещина в форме буквы «У». Или буквы «И». Или просто трещина. Линия. То, что было всегда.

Она закрыла глаза.

Сон пришёл быстро. Не тёплый, не мягкий. Быстрый. Как падение. Как вода, которая закрывается над головой.

Детская рука держит фонарь. Свет качается. Жёлтый. Тёплый. Бьёт вниз, в темноту, в воду, в воду, которая не кончается. Кто-то считает вслух. Голос низкий. Ровный. Не злой, не добрый. Ровный. Как дыхание. Как вода в трубах. Как-то, что течёт и не останавливается. Раз. Два. Три. Четыре.

Руна не видит, кто. Не видит лица. Только голос. Толь-

ко счёт. Только свет фонаря, который качается, который не гаснет, который держит детская рука. Её рука. Маленькая. Пальцы белые. Костяшки выступают. Фонарь тяжёлый. Рука устала. Но не опускает. Не может. Потому что если опустит — темнота. А в темноте кто-то бьётся.

Проснулась.

Руна лежала в кровати. В комнате отца. В куртке. В ботинках. За окном было темно. Туман. Река шумела. Тихо. Низко. Как всегда.

Руна посмотрела на руку, на ладонь.

Соль.

Белая. Сухая. Крупинки. Впились в кожу. Царапали. Мелкая, сухая боль. Руна сжала пальцы. Соль хрустнула, впилась глубже.

Она не брала соль. Банка на полке. Закрыта. Воск сломан, но крышка на месте. Руна не вставала. Не шла в кабинет. Не открывала банку.

Соль на ладони. Белая. Настоящая. Царапает.

Руна разжала пальцы. Крупинки упали на простыню. Белые точки на серой ткани. Руна смотрела на них. Не двигалась. Не дышала. Смотрела.

За стеной, в трубах, гудела вода. Тихо. Низко. Как дыхание. Как счёт. Как голос, который не кончается. Который считает. Который ждёт.

Руна закрыла глаза.

Не заснула.

ГЛАВА 3. ПОХОРОНЫ.

Церковь пахла мокрой шерстью и воском. Не тем, что горит ровно и отдает медом, а тем, что капает на пальцы и застывает коркой. Свечи у алтаря — тонкие, дешевые. Пламя на них дергалось от каждого вздоха. Сорок три головы. Руна считала. Пятнадцать лет полевых сезонов: пробы, точки замера, секунды между всплесками. Здесь она считала живых. Мертвый был один. Его не считали.

Сорок три. Для города в тысячу двести четырнадцать — мало. Для похорон архивариуса, тридцать лет переписывавшего чужие смерти в тетрадь, — в самый раз. Руна села на вторую скамью. Первая — для семьи. Она считала себя единственной семьей, но сидеть одной перед всем городом означало бы выставить пустоту напоказ.

Клэрис рядом. Прямая спина. Черное пальто, которое Руна помнила с детства — оно не изменилось, мать не изменилась, и от этого становилось не по себе. На коленях Клэрис лежал платок, сложенный вчетверо. Сухой. Она не прикладывала его к глазам. Не мяла. Платок лежал, как вещь, взятая на случай, если кто-то посмотрит.

Руна смотрела на руки матери. Не на гроб. На руки. Пальцы ровные, сухие, без колец. Ногти коротко подстрижены. Руки, которые вчера наливали суп и не дрожали. Руки, ко-

торые позавчера сказали: продай дом и уезжай. Сейчас они лежали на коленях, и между ними и гробом было два метра церковного пола. Клэрис, казалось, не замечала этого расстояния.

Гроб стоял у алтаря. Открытый. В морге крышка была опущена. В церкви ее подняли. Человек за стойкой сказал: правила. Не уточнил. Не посмотрел на нее. Смотрел в бумаги. Руна подписала, забрала, уехала. Гроб в фургоне стучал четыре часа. Теперь он стоял у алтаря, и сорок три человека смотрели на него. Никто не смотрел на Руну.

Священник говорил о покое. Голос ровный, натренированный. Слова падали в зал, как капли в стоячую воду — без всплеска, без круга. Руна не слушала. Она смотрела на затылки, на плечи. Люди сидели ровно, близко, но не касаясь. Локти прижаты. Колени вместе. Головы чуть наклонены, как у тех, кто ждет очереди в кабинете. Не горе. Ожидание.

Река гудела даже здесь. Низкий, ровный гул, как в трубе, когда вода идет далеко и не останавливается. Окна выходили на воду, свет сквозь стекло — серо-зеленый, густой, цвета ила после паводка. Руна чувствовала этот гул не ушами. Грудной клеткой. Рёбрами. Река дышала сквозь стены.

Харлан Лэтэм поднялся со скамьи в первом ряду.

Он не шел к кафедре. Он шел к людям. Медленно, без спешки, и пространство перед ним расступалось само — не из страха, так было всегда. Серый костюм. Темный галстук. Руки большие, чистые, с короткими ногтями. Руки челове-

ка, который не работает руками. Который считает. Который подписывает.

Он остановился перед кафедрой. Ближе к людям. Без возвышения. Без дистанции.

— Огаст знал реку, — сказал Харлан.

Голос тихий. Не проповедь. Констатация. Как говорят о погоде или об уровне воды.

— Река знала его.

Пауза. Два удара сердца.

— Он дома.

Сел.

Руна ждала продолжения. Ждала, что он встанет, скажет еще, объяснит. Сорок три человека ждали вместе с ней. Но Харлан сидел. Руки на коленях. Лицо ровное. Три предложения. И сел. Как будто этого было достаточно. Как будто больше нечего было сказать. И это было страшнее любой речи. Речь — это объяснение. Три предложения — это приговор, который не объясняют.

Церковь выдохнула. Не ахнула. Выдохнула. Как выдыхают, когда очередь подошла и прошла мимо.

Люди начали вставать. По одному. По двое. Подходили к гробу. Кивали. Отходили. Никто не касался крышки. Никто не клал руку. Кивок — и шаг назад. Как расписываются в журнале. Как подтверждают получение.

Руна встала последней.

Она подошла к гробу. Ноги несли ее ровно, тело не дрожа-

ло. Она думала: я должна посмотреть. Я должна увидеть. Но когда подошла, старалась не смотреть на лицо. Серое, восковое, рот чуть приоткрыт. Лицо — это то, что показывают. Лицо — это грим.

Она смотрела на воротник.

На белой ткани рубашки, у самой шеи, лежал налет. Тонкий. Почти незаметный, если не знать, куда смотреть. Бурый. Плотный. С маслянистым блеском по краям, как глина, которая высохла не до конца.

Руна знала этот цвет. Пятнадцать лет полевых сезонов. Аллювиальный осадок от коллювиального она отличала на ощупь, по запаху, по текстуре. Речной ил Морроу-Фоллз был светлый, крупный, с песком и слюдой. Быстрый. Каменистый. Живой.

Это был не речной ил.

Это был тот же ил, что лежал в подвале отцовского дома. Три сантиметра. Ровный слой. Тёмный. Жирный. С волокнами. Карстовый. Из-под земли. Из полостей, куда вода не течет, а стоит. Где она была сто лет. Двести. Где она не движается и не светлеет и не пахнет рекой. Пахнет железом.

Руна протянула руку.

Палец коснулся воротника. Налет был сухой сверху, но под верхним слоем — влажный. Жирный. Он лег на подушечку указательного пальца бурой полосой. Руна поднесла палец к лицу. Запах. Металлический. Густой. Не кровь. Железо. Карбонат. Вода, которая прошла сквозь известняк и за-

брала из него всё, что могла.

Тот же запах, что в подвале. Тот же, что на двери подвала, когда она прижала ладонь ночью. Тот же, что на стекле стакана, который стоял на тумбочке в комнате отца.

Отец был в той воде. Не в реке. Не в луже у крыльца. В той воде, которая шла по трубам ночью. Которая не должна была идти. Которая пахла железом и стояла тридцать сантиметров.

Руна убрала руку. Палец был бурый. Она не вытерла. Запустила руку в карман пальто. Палец уперся в ткань, бурый ил отпечатался на подкладке. Она чувствовала это. Холодное пятно на коже. Не смывалось. Не должно было.

Она отошла от гроба. Сорок три человека смотрели в пол. В руки. В свои сложенные пальцы. Никто не смотрел на нее. Никто не спросил. Никто не подошел и не сказал: что ты видела. Никто не хотел знать, что она видела.

Руна села. Клэрис рядом. Прямая. Платок сухой.

— Ты ела? — спросила Клэрис. Не поворачивая головы.

— Нет.

— Поешь после.

Это был их разговор. Всегда был. Три слова. Два ответа. И восемнадцать лет между ними, в которых не было ни звонка, ни письма, ни одного дня рождения.

Шериф подошел на ступеньках у церкви. Руна вышла последней, потому что Клэрис шла медленно, и не потому что ноги не несли, а потому что Клэрис хотела, чтобы ее видели.

Чтобы видели, как она идет. Прямая. Сухая. Не плачет.

Рид Мосс стоял у боковой стены. Моложе, чем Руна помнила. Или просто выглядел моложе, потому что сутулился, будто пытался стать меньше. Куртка на плечах висела. Руки в карманах. Когда он увидел Руну, руки из карманов вытащил. Они дрожали. Мелко. Заметно. Как у человека, который давно не спал. Или который знает что-то и не может сказать.

— Руна.

— Рид.

— Мне жаль. Твой отец был...

Он не договорил. Посмотрел на свои ботинки. На мокрую траву. На реку за оградой.

— Я не хотел говорить сегодня. Но...

— Говори.

Он замолчал. Сглотнул. Руна видела, как двигается его горло. Как он подбирает слова и не находит. Или находит, но не может произнести.

— Дом. Твоего отца. Он продан. За долги.

Руны остановилась. Ноги стояли. Тело стояло. Только внутри что-то сдвинулось. Не упало. Сдвинулось. Как ил на дне, когда в него входит течение.

— Что?

— Сделка оформлена вчера. Через нотариуса в округе. Я не участвовал. Я даже не знал, пока вчера не пришло уведомление.

— Вчера.

— Да.

— Вчера мой отец был мёртв.

Мосс не ответил. Посмотрел в сторону. На кладбище. На туман. На что угодно, кроме ее лица.

— Бумаги были в процессе. Подписи стояли. Нотариус заверил после того, как...

— Какие подписи. Он подписывал? При ком?

— Руна, я не...

— Кто купил.

Молчание. Короткое. Но Руна поняла ответ по тому, как Мосс отвел глаза. По тому, как его руки сжались и разжались. По тому, как он посмотрел через кладбище, через туман, на серую фигуру у черной машины. Харлан Лэтэм открывал дверцу. Не оглядывался.

— Харлан, — сказала Руна.

Мосс кивнул.

— Я не мог это остановить. Я даже не знал. Руна, я...

— Ты шериф. Ты знал, что дом продают, пока хозяин жив. И ты не остановил.

— Я не имел права. Это гражданская сделка. Нотариус...

— Нотариус заверил подпись мертвого человека.

— Подпись была до... Бумаги были...

Мосс замолчал. Руки тряслись сильнее. Он сунул их обратно в карманы. Вытащил. Снова сунул.

— У меня есть время забрать вещи?

— Формально до конца дня. Потом ключи переходят.

— Кому. Харлану.

— Руна, послушай. Я не знаю всех деталей. Я видел бумагу вчера. Одну бумагу. Там было имя нового владельца и дата. Я не читал остальное. Я не должен был читать.

— Но прочитал.

Он не ответил. Посмотрел на нее. Впервые прямо. В глаза. И в его глазах было не сочувствие. Не вина. Страх. Мелкий, частый, как дрожь в его руках. Страх человека, который знает слишком много и не знает, что с этим делать.

— Уходи, Руна, — сказал он тихо. — Забери вещи. Уезжай. Не ходи к реке. Не ходи в подвал. Не задавай вопросов.

— Ты говоришь как моя мать.

— Твоя мать жива.

Руна посмотрела на него. Мосс отвернулся. Пошел. Не быстро. Не медленно. Шел и сутулился, и его спина становилась все меньше, будто он хотел, чтобы его не было.

Руна стояла на ступеньках церкви. Ветер тянул с реки. Холодный. Пах илом. Тем самым. Карстовым. Не речным.

Она засунула руку в карман. Палец был бурый. Ил засох. Корка. Тёмная. Пахла железом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.